

МИХАИЛ ЯСНОВ

АЛФАВИТ  
РАЗЛУКИ

ИЗ  
НЕВЫШЕДШИХ  
КНИГ

Книгоиздательство  
«ВСЕМИРНОЕ СЛОВО»  
Санкт-Петербург  
1995

МИХАИЛ ЯСНОВ

# АЛФАВИТ РАЗЛУКИ

ИЗ  
НЕВЫШЕДШИХ  
КНИГ

Ленке и Васе —  
За переводчикова книга —  
от автора

Михаил Яснов

95 —

Книгоиздательство  
«ВСЕМИРНОЕ СЛОВО»  
Санкт-Петербург  
1995

Новый сборник стихотворений  
*Михаила Яснова*  
состоит из двух разделов:

в «Алфавит разлуки» вошли стихи, написанные в 70—80-е годы,  
из не вышедших в то время книг автора;  
«Подземный переход» представляет лирику последних лет.

Оформление *Галины Лапшовой*

ISBN 5-86442-014 X

© «Всемирное слово», 1995 г.  
© Михаил Яснов  
© Оформление Г.Лапшовой

I.

## СМЕРТЬ ПОЭТА

Не звонил ему никто.

Он лежал в постели жаркой  
рядом с книжной этажеркой,  
положив на одеяло  
неподвижно пальто.  
Вечерело. Холодало.  
Не звонил ему никто.  
В поликлинике сначала  
не давали бюллетеня,  
а потом он перемогся:  
думал — осень на носу,  
начались грибы в лесу,  
и от службы по Вуоксе  
был байдарочный поход.  
Он поехал, перемогся,  
перемаялся — и вот  
закрутил его недуг,  
и внезапно умер друг.

Все потом припоминали,  
где его в тот день видали.  
Выходило, как всегда,  
в заведении питсйном  
(угол Невского с Литейным),  
наверху, в «Аэрофлоте»,  
(где вы часто кофе пьете),  
в Доме книги, возле Люси,  
(с толстой книгою во вкусе  
примитивном, как всегда).  
Вспоминал усердно кто-то,  
что сказал он в этот день:

выходило так ничтожно,  
что и вспомнить невозможно, —  
что-то вроде анекдота,  
в общем, дрянь и дребедень.  
Вспоминали те стихи,  
что читал он в поза- поза-  
позапрошлый выходной:  
выходило, просто поза,  
и при этом слог дурной.  
Впрочем, был он милый мальчик.  
Было жаль его, пожалуй.

Не звонил ему никто.  
А Ткачиха с Поварихой,  
с сватьей бабой Бабарихой —  
весь набор соседских душ —  
принимали в ванной душ,  
и стучали по квартирс,  
и кричали невпопад.  
За стеною кум и сват  
обсуждали, что в Каире  
говорил Анвар Садат,  
и куда поехал Никсон,  
и куда поехал Нюксон,  
и куда поехал Няксон,  
про валютный кризис тож.  
Так в последний раз глагол  
слуха чуткого коснулся,  
но поэт не встрепенулся:  
был он немощен и гол.

Не звонил ему никто.  
Пахли мерзостью ботинки.  
Начался под вечер бред.  
Вместо пипуцней мапинки

на столе сидел скелет.  
И сочились вразнобой  
ненаписанные строчки  
из листа, как черный гной  
из разорванной сорочки.

Не звонил ему никто.  
Гарик был с женой на даче.  
Маша с мужем не иначе,  
как машиной занимались.  
Волик с Аней разъезжались.  
Славик лазил по тайге.  
Марик лазил по знакомым.  
Был Володя вдалеке,  
а Регина просто дома.  
Петя с девушкой скучал.  
Витя Рильке изучал.  
Вася пил. Борис молчал.  
Николай ногой качал.

*1971*



Как начинался русский футуризм?  
Вот Лиля Брик когда-то написала  
о сестрах Синяковых. Пять сестер —  
девицы эксцентричные — в хитонах,  
с распущенными вечно волосами,  
гуляли по украинскому лесу,  
пугая всю округу... Пастернак  
влюблен был в Надю, а Давид Бурлюк —  
в Марию, в каждую из пятерых —  
поочередно — Хлебников, Асеев  
женился на Оксане... Так возник,  
как весело писала Лиля Брик,  
в их доме футуризм. Начало века,  
приманивая, было втихомолку  
греховно, и за ширмою течений,  
литературных школ и живописных,  
стояла обнаженная царица  
и свой вершила легковесный суд.  
Так распадался символизм. Метался  
ревнивый Белый. Шел к дуэли Брюсов.  
И, губы сжав, пророчествовал Блок...

*А где же наши женщины, дружок?*

Кто будет музе верною сестрой  
и оживит безвыходное слово —  
Безмолвная крестьянка на Сенной  
иль карлица, ведущая слепого?

В искусстве сходство каверзное есть  
с изысканной и милой одалиской,  
что дарит нам высокую болезнь,  
смешав ее с постыдною и низкой.

1970

## ПОЗДНИЙ ПЕРЕЛЕТ

Стоит июнь. С утра до ночи  
летит на землю тощий дождик.  
Видит над вымокшим газоном  
дурман проснувшейся травы.  
У нас на кухне, между окон,  
соседки держат голубенка:  
он полинял немного к лету  
и стал, как снег вчерашний, бел.

Вчера, вчера... Вчера лишь только  
я целовал твои ладошки —  
сегодня на моей ладони  
пора читать следы судьбы:  
как будто птица постояла  
одною лапкой — и взлетела,  
а на ладони — отпечаток,  
как на снегу или песке.

Вчера я видел: птичья стая  
куда-то к северу летела.  
Пожалуй, время перелетов  
уже закончилось. Она,  
как я, от времени отстала  
и наверстать стремилась лето.  
Я не стремлюсь: я днем вчерашним  
еще живу, еще дышу...

Вчера я был в гостях. Учитель  
сидел, нахохлившись, под лампой  
и медленно лушил орешки  
ядренных истин. А кругом  
птенцы веселые резвились,

и одинокий пролеталец  
кричал: «Пора!..Настала осень!..  
На юг!.. На юг!..» И улетел

в окно. У нас июнь. Учитель  
открыл пошире обе рамы.  
Стучал будильник о решетку  
железным клювом. На стене  
в стеклянной клетке птица Гете  
чуть слышно пела по-немецки,  
и по-английски птица Байрон  
ей отвечала сквозь стекло.

И птица Хлебников свистела,  
и птица Гельдерлин звенела,  
и, заглядевшись на окошко,  
молчала птица Пастернак...  
Где ж ходит он, веселый Дидель?  
Давно в Тюрингии медовой,  
давно в Саксонии сосновой  
травой тропинки поросли...

Учитель медлил. Понемногу  
он распахнул за клеткой клетку —  
и разлетелись наши птицы,  
и полетели кто куда.  
И птица Рильке взмыла в небо,  
и птица Брехт пропала в тучах,  
и опустилась на плечо мне  
седая птица Манделъштам...

Как шумно в мире! За стеною  
прошел на цыпочках котенок.  
В буфете звякнули стаканы.  
Из крана капнула вода.

Учитель встал, расправил крылья  
и полетел вдоль книжных полок,  
и я, следя за ним, увидел,  
что он, как снег вчерашний, бел.

Меж тем, мои соседки кормят  
пшеном отборным голубенка.  
Мне пищут ворон и синица,  
и даже старый какаду.  
А ты, по-прежнему, — ни строчки.  
А куры, индюки и гуси  
уже с утра опять горланят...  
Ни рук твоих, ни губ. Тоска.

Пора! На улице все так же  
мурлычет дождик. Снозранку  
проглянет солнце и начнется  
обычный день. Часу в шестом  
засвиристят в листве собратья.  
Ни губ твоих, ни рук. Пожалуй,  
пора на север. Догоню ли  
ту птичью стаю?.. Но куда,

куда же мне лететь?

1974

\* \* \*

*Владимиру Пашковскому*

О дружеские встречи, беседы и вино,  
решение под вечер отправиться в кино,  
программы и газеты, и споры впопыхах —  
и вот уже билеты лежат у нас в руках.

Но выяснилось в зале — история проста! —  
что мы билеты взяли на разные места,  
и если чин по чину в три разные угла,  
и спешка за причину посчитана была.

Вот кто-то на экране запел и зарыдал,  
тот — умер, этот — ранен, а третий — проиграл.  
Кому-то было туго, кому-то благодать,  
кому-то было друга в толпе не отыскать...

Но все сидели в зале спокойно — кроме нас:  
искали мы глазами друг друга весь сеанс.  
Как будто кто добьется ответа на вопрос:  
ну как тебе — смеется? И плачется ль всерьез?

Вот так мы проглядели, прошляпили кино,  
и было в самом деле и грустно, и смешно.  
И что там перед нами?.. Какая благодать?.. —  
Все вертим головами: друг друга не сыскать...

1970

\* \* \*

Еще немного подождем,  
пускай былое обрисуеться,  
и станет резче поздний свет,  
и все на свете образуеться.  
Еще судьба не подвела —  
не подвела еще итога.  
Терпенья нам не занимать —  
так подождем еще немного.

Еще неверная строка  
к другой неверной приплюсуеться,  
и станет верным наш удел,  
и все на свете образуеться.  
Пусть горечь переходит в речь,  
как в небо — горная дорога.  
Таланта нам не занимать —  
так подождем еще немного.

Покуда черная дыра  
на горизонте образуеться,  
мы лампу яркую зажжем,  
и все на свете образуеться:  
покуда боль, покуда боль —  
опора наша и подмога.  
Вот только б жизни подзанять —  
еще чуть-чуть... еще немного...

1983



И совсем не для них мастерили кормушку,  
но красивые птицы ее обошли стороною — поди, вороти!  
И слетелись, давя и пиная друг дружку,  
мелкота, шантрапа, воробьи.

И вот уже весь деревянный квадратик заполнен  
их тельцами ярыми,  
и вот не осталось от крошек уже ни следа...  
А красивые птицы — одиночками или парами —  
вымирают в долгие холода.

Что-то и впрямь со средой происходит,  
и в зимних краях огородных,  
где ни крупинки съедобной на ветке нагой,  
и этих, ничтожных, жаль — и тех, благородных  
и те не даются — и эти всегда под рукой.

И глядя на крохи тепла, что слетают с ладоней отчих,  
так и не знаешь, в конечном счете, что выбирать, —  
то ли всем скопом бросаться на них,  
урывая заветный кусочек,  
то ль в одиночестве вымирать?

1986

# СВЯТЫЕ ГОРЫ

## I

... Вновь я посетил  
тот уголок земли, где год за годом  
работал выездным экскурсоводом  
в те дни, когда берез и сосен шум  
еще не перерос в музейный бум.

## II

Все нынче ярко, вылощено, броско.  
Воронье вече на холмах Изборска  
сородичей зовет, как век назад, —  
и вот они летят крикливо над  
могилой, хоронящейся от тлена  
под колпаком из полиэтилена.

## III

«Икарус» на развилке, как мутант,  
раздвинув двери, выбросил десант,  
стремительным гуськом пошедший мимо  
заснеженных деревьев, где из дыма,  
из выхлопных морозных облаков,  
как призраки иных материков,

#### IV

за тенью тень пошлыли, задрожали,  
та, вроде, в шубе, эта, вроде, в шали,  
миг — и пропали. Но, презрев мираж,  
десант калитку взял на абордаж,  
просачиваясь к дому за продрогшей,  
застывшей на ветру экскурсоводшей.

#### V

Все стало индустрией. На поток  
поставлены подделка и подлог,  
готовые служить в музейном раже  
простецким чувствам, падким на муляжи.  
Все стало куклой, маской восковой —  
и лишь экскурсовод еще живой.

#### VI

Вот так и мы когда-то замерзали,  
отогреваясь в полутеплой зале,  
и снова — из усадьбы на мороз.  
Тот давний путь сугробами порос —  
когда мы шли под липовые своды,  
соперники, друзья, экскурсоводы.

#### VII

В те дни, когда тригорские холмы  
вставали из заиженеделой тьмы,  
и к Сороти спускался дым прогорклый,

и тек туман над Савкиною горкой,  
и морозь застигала окоем, —  
что знали мы о будущем своем?

### VIII

Меж тем, шенясь свободою от быта,  
открыто, боевито, деловито,  
как на дрожжах, росло во весь талант  
великое понятие: экскурсант, —  
мгновенно забывая автотрассы  
невиданным скоплением биомассы.

### IX

И вот возник автобусный народ,  
на два-три дня сбежавший от забот,  
от жен, мужей, и службы, и начальства —  
пу как же тут веселью не начаться?  
Уже стаканы радостно звенят,  
и песня возникает несплопад.

### X

А впереди у них еще в запасе  
манящая ночевка на турбазе  
и тянущий магнитом монастырь...

Торопится замерзший поводырь  
и голосом, простуженным и грубым,  
привычный путь указывает группам.

## XI

Все стало индустрией. На поток  
поставлен парк с развилками дорог,  
и одинокий дуб, и сосен веер.  
С утра до ночи движется конвейер,  
не различая снега и дождя,  
за группой группу с круга уводя.

## XII

Любовь к стихам — северное занятие.  
Но гению открыты все объятья.  
Поэт несносен, замкнут, одинок.  
А гений всем распахнут, словно бог.  
И, отложив компьютер и половник,  
в дорогу собирается паломник.

## XIII

Две-три строки на память знает он,  
но общию волною вознесен.  
К тому же столько трепета и звона  
он с детства слышал с каждого амфона!  
А женщины... А шлетни... А Дантес...  
Все вызывает буйный интерес.

#### XIV

Такая здесь прозрачная свобода,  
и так легко прижать экскурсовода,  
и эдакое что-нибудь спросить!  
А можно и соседей поразить  
своей осведомленностью по части  
чужой любви и стародавней власти.

#### XV

А может быть, и впрямь, так скуден вск,  
что эта страсть — не более, чем побег  
из жизни в жизнь, прикосновенье к чуду  
иной судьбы, возникшей из-под спуда  
обрядных дел, — спасительная страсть,  
с которой легче выжить, не пропасть?

#### XVI

Народная трона не зарастает,  
зато наутро в памяти растает.  
Автобусный народ всегда богат  
совместным знаньем нескольких цитат.  
И вера в то, что существует гений,  
куда важней его стихотворений.

#### XVII

Он существует... Он существовал...  
«Икарусы» летят за валом вал,

прибьем красным прибываясь к стенам  
монастыря. В молчании почтенном  
к могиле поднимается народ.  
Вороний крик над городом плывет,

### XVIII

а я пейзаж осматриваю местный.  
С гостиницы, как с барышни уездной,  
рабочие, ворча, сбивают спесь —  
а именно: побелку, там и здесь  
отставшую от допотопной кладки,  
открыв морщины, оспины и складки.

### XIX

Ревет на перекрестке бензовоз;  
жует лошадка, фыркая, овес;  
магнитофон разносит «Модерн Токинг»,  
тинейджера пьяня, как модный допинг;  
и школьницы, портфели отложив,  
мурлыкают заезженный мотив;

### XX

бурчит, спеша к обедне, богомолка;  
на склоне развернулась барахолка;  
и тихих кустарей опередив,

кич прославляет кооператив;  
а под стеной, толпу свою заторкав,  
командует напыщенный фотограф;

## XXI

судачат бабки, время вороша;  
дитя в коляске радостно гундосит...  
Судьба моя! Ты тем и хороша,  
что все в тебе чужого слова просит, —  
пока горит в душе, как уголек,  
тот уголок земли...

1988

II.

Окруженный резною листвою,  
миг мой летний, постой,  
погоди, мы темного помедлим.  
Жук ползет, и по медным  
твердым латам его так же медленно солнечный блик  
проползает: возник —  
и исчез.  
И сомкнулась трава, словно девственный лес.

Есть в июле и августе редкое время,  
чтобы выпасть на время из жизни, и в теме  
«я и мир» отдохнуть на вставной, на пейзажной главе,  
на которой задержится лишь искушенный  
и неспешный читатель. В траве  
полумрак потаенный,  
и не так-то легко одолеть тишину и пробиться  
сквозь нависшие стебли и эти страницы.

Но когда суэта  
оставляют тебя, и лета,  
те, что клонят, как водится, к прозе,  
заставляют в рифмующем мире осматривать  
каждый пробел,  
ты опять замыкаешься в тяжком вопросе:  
что он есть, наш удел?  
И какое твое назначенье? А цели?  
Комья рыхлой земли под ногами осели.

Что же есть в современном сознании такое,  
что тобою  
говорит, отличая тебя неустанно от зета, от игрека  
и уж, конечно, от икса,

в нашей общей дороге до Стикса  
иль до той безымянной канавки в распадке глубоком,  
где настанет пора превращаться в воздушную куколку,  
в кокон?

Наши троны узки, наши стебли ветвисты,  
и взстают, аукаясь, метафористы.

И пока в эти корни вбивают болты,  
и стальная листва, с высоты  
опускаясь, сжимает кольцо  
над землею, кипя и алая,  
и поющий мутанг приближает лицо  
к озерцу, как к экрану дисшися, —  
мы ступаем в притихшей траве  
по горячей, как кровь,  
как душа, несвесомой,  
троне...

1986

## МИРАЖИ ДЕТСТВА

Осыпаются капли с словых игол.  
Каплинад по мокрым кустам запыгал.  
Одуванчик, прибитый дождем к земле,  
поднимается, опершись о камень,  
и жучок усатый под цокот капель  
на травинке качается, как в седле.

Кавалерия зеленого луга!  
Стебельки подтянуты, как подпрута.  
Мелкота из-под ног дает стрекача.  
Шорох, шелест, шарканье и шуршанье,  
стрекотанье, пофыркиванье и ржанье,  
в нетерпенье копытом бьет саранча.

В путь, осылав с фиалки потоп капли!  
Наверху защелкали и запели.  
Под еловой лапой, где тишь да гладь,  
среди лишкких нитей, сухих волокон,  
как царевну спящую, легкий кокон  
со смертельным страхом поцеловать.

Мир грибной просыпается, шевелится,  
как глаза, продирает свои грибницы,  
и, от копошения обомлев,  
низвергаются слизи замшелым градом,  
пахнет мистикой и пиратским кладом  
старый корень в виде латинской F.

Что-то чудится, ждётся, мнится... Однако  
снова сон, и ничто не тревожит мрака,  
не поднять приросших к земле гардин.  
Нищий мальчик, я жизни воздал с лихвою!  
Сев на корень, я выдираю хвою  
из вконец запутавшихся седин.

Подступает к горлу печаль и нежность.  
Седина не заслуга, а неизбежность.  
Глядя в небо, я вижу то, что внизу:  
уходящие в бездну сплетенья веток.  
И словый запах так прян и едок,  
что вышибает слезу.

1985

## ОСЕННИЙ ТРИПТИХ

1

Лес прозрачен, как намек на осень.  
Вместо тропки — чавканье и прель.  
Мы плащи тяжелые набросим  
и войдем под шорох и капель.

Стал кустарник выпцветшим и нищим,  
сизый мох — пружинист и глубок,  
и нога под влажным голгнищем  
опуцает зябкий холодок.

Вымершие стебли иван-чая  
клонятся на вымокшие пни.  
Я теперь все больше замечаю,  
как мы лесу этому сродни.

Шелестит невидимая птичка,  
скрипом отзывается сосна.  
Наших душ немая перскличка  
никому чужому не слышна.

В этой внешней скудости — спасенье  
от досужих возгласов и глаз.  
Отошло грибное воскресенье  
Все легко и чисто без прикрас.

Все связано несборимо,  
 природа все пускает в ход:  
 сухая сль, как струйка дыма,  
 над сонной просской встает.

Она потом такой и станет —  
 сухим потянется дымком  
 над перелеском и кустами.  
 Но это будет все потом.

Она еще стоит — прямая,  
 бросая тени на тропу,  
 и после смерти примеряя  
 свою грядущую судьбу.

Листва облетает,  
 листва облетает,  
 в садах паутина кусты оплетает,  
 и сена сухого пурпаний прибой  
 лежит, шевелясь над уставшей землей.

Вчера еще громко аукал черничник —  
 сегодня предашьем он стал, как язычник.  
 Вессильному ветру древесный народ  
 поклоня, как богу единому, бьет.

Нам тоже пристрастья вчерашние страшны —  
 открыты коробки, скрипят чемоданы,  
 повсюду дорожный витает флюид:  
 бог сборов осенних над нами царит.

Листва облетает,  
листва облетает,  
прозрачно облако на небе тает,  
и день за порогом пока просветлел,  
но сердце сжимает идущий циклон.

Ты смотришь в себя, как юнец желторотый,  
еще неосознанной боли страшась,  
представив на миг, что у сердца с природой  
осталась лишь эта — последняя — связь.

*1987*

## ПРИГОРОД

Деревья в железных заплатах,  
как древние рыцари в латах,  
стоят, охраняя дворец.  
Хоронится в кронах крылатых  
военный свинец.

Листва на дворцовом асфальте,  
как блестящая память о смальте  
старинной, о ярких панно.  
Вот-вот из тумана Ринальди  
появится. Но

не встретиться нам, и — насмарку  
вдвоём променад у пруда.  
Мой путь только красен по парку,  
а дальше — туда,

где в улочке, тихой и сонной,  
вблизи от дворцовых оград,  
за скромной калиткой казенной  
стоит интернат.

Здесь запах не школы — лаванды.  
Здесь блеск и покой — на виду.  
С пугевкой бюро пропаганды  
на встречу иду.

Задиры, друзья, первоклашки,  
тычков и подножек парад!  
В чернилах посы и карманки,  
где ручки лежат.

Но, прячась за узенький ствол  
души семилетней, — как тать,  
меня стережет алкоголик:  
отец или мать.

И вдруг осекается детство,  
и плечики падают ниц,  
и смотрит тупое наследство  
из бедных глазниц.

...Трава, точно выцветший гарус,  
Застыл у газона «Икарус».  
И сын Альбиона идет,  
подняв объектив, точно парус,  
у людных ворот.

Спит он, до чуда охочий.  
Еще бы! Пленил его зодчий.  
А я оглянулся назад:  
два лика земли моей отчей  
друг в друга глядят.

1980

\* \* \*

*В.Д.Берестову*

На улице — тихо и жарко.  
Дремотные липы цветут.  
В дирекцию детского парка  
зайду на пятнадцать минут.

Мне скажут:  
— Ну как, вы готовы?  
Не страшно? У нас — мальши!..  
— Ну что вы, — отвечу, — ну что вы:  
они-то как раз хороши!

Люблю первоклашек степенных,  
их классов приветливый вид,  
где солнечный зайчик на стенах  
от каждой улыбки дрожит.

Люблю второклашек беспечных,  
их шум, их насмешки порой,  
и этих наивных и вечных  
вопросов неистовый рой.

Люблю третьеклашек бывалых —  
расселись, хитры и тихи.  
Не раз я с восторгом внимал их  
историям — вот где стихи!

И есть неприметная глазу  
отзывчивость, гибкость души —  
все то, что к четвертому классу  
теряют мои мальчиши.

Тот весело смотрит,  
тот — хмуро,  
та щиплет соседку тайком...  
Все прочее — литература!  
И к ней мы сейчас перейдем.

1986

## ЛИСТ КАЛЕНДАРЯ

— Ну как, вам нравится?

— Но зато как хорошо!

*(Из разговора на поэтическом вечере)*

Спит поэт столичный, веселый человек.  
А с ним актер, отличный от суетных коллег.  
Спит народ вирипрыжку на голос аонид.  
А ветер завывает, а вьюга леденит.

Нева, дома, суробы, собачий купорос...  
Я славлю Дом ученых, пригравший нас в мороз!  
Ревнивый и нежный под ребрами толчок,  
и юности недавней знобящий сквознячок.

А гости перед входом успели покурить,  
они в шестидесятых успели поцарить,  
они поотражались в волшебных зеркалах —  
осколки поколенья с усмешкой на губах!

Какая разыгралась за окнами буза!  
Но подвернулся повод закрыть на все глаза:  
как будто есть на свете лекарство от нее —  
веселое фиглярство, занятное вранье.

Шумит поэт столичный, миляга и пострел,  
и все-то он на свете унюхал-усмотрел:

Чуковского он видел, Ахматову он знал,  
но не пристали к пальцам ни слава, ни металл.

Над поздней удачей кружит февральский снег,  
и оживают тени, и оживляют век,  
и голос легендарный взлетает над Невой,  
как легкий, календарный, листочек отрывной.

Какое поколение почти сонно на пет!  
А мы поодиночке идем за вами вслед  
и на привычный проблеск мальчишеских седин  
с веселым одобреньем и с ужасом глядим...

1985

## РЯДОВОЕ ДЕЛО Д'АРТАНЬЯНА

*1655 год. Осень. Уголок старого Парижа. На переднем плане — дом, предназначенный к ремонту. Около него свалены строительные балки. Перед домом прохаживается д'Артаньян.*

д'А р т а н ь я н.

Его пресвященство, кардинал,  
мне не даст покоя. Я отныне,  
как мой герой однажды написал,  
порхаю «токмо ради Мазарини».  
Ну что ж, мазаринада Сирано  
была вполне язвительна. Однако,  
в сороковом году, давным-давно,  
я знал совсем другого Бержерака.  
Вот кто пугил! Вот кто сгорал в огне!  
Кто был магнитом тайных женских взоров!  
И уж кому по праву, как не мне,  
его гасконский выговор и норов!  
Но столько лет минуло! Наконец,  
могла бы и трезвость посетить кумира,  
а он — смешно! — как в юности, гордец,  
бессребренник, писака и задира.  
О, молодость, твой пыл не позабьт,  
порыв твой свят, достойна щепетильность,  
но в сорок лет, сй-богу, так претит  
вся эта напускная инфантильность.  
Дуэли, скачки, юбки хороши  
в семнадцать, а теперь они — вериги,  
и для созревшей, дерзостной души  
нужны иные чары и интриги.  
Я — д'Артаньян: меня не тяготят

ни бремя славы, ни обуза денег.  
Но требует душа! Я — дипломат,  
изуит, разведчик и священник!  
Что говорить? Наш век не так-то прост —  
в нем выжить по плечу одним титанам.  
К тому же мне обещан новый пост:  
я со дня на день стану капитаном  
гвардейцев... Но до этого — одно,  
еще одно задание кардинала:  
убрать писаку... Бедный Сирано!  
Мне жаль его. Как хорошо, что мало  
я с ним знаком! В конце концов, еще  
одна дуэль, но тайная. Не надо  
ни прятаться украдкой под плащом,  
ни в полутьме устраивать засаду.  
Я все продумал: Бержерак живет  
здесь, в двух шагах... Когда пойдет он мимо,  
случайно балка сверху упадет...  
Дом строится... И все так объяснимо...  
Я нанял трех мерзавцев — этих дел  
им не считать, и денег не считать им...

*А в т о р (выбегает из партера на сцену).*

Постойте! Я такого не хотел!  
Так мы с ума от пуганицы спячим!  
Я лишь предположил, что, может быть,  
в убийстве Сирано (когда убийством  
закончилась его шальная жизнь)  
мог быть замешан д'Артаньян. Как раз  
в те годы стал он ловким, умным, тайным  
агентом Мазарини...

*(Садится на одну из балок).*

Но ведь это —  
лишь домысел. И сам я не пойму,  
с чего взбрело мне пугать д'Артаньяна  
реального — и вымысел Дюма!  
Развенчивать героя? Но зачем?  
Переносить в тот давний век свои  
не слишком-то богатые пометы  
и наблюденья? Но далекий век  
даст фору в сто очков по этой части  
и подлостью своей нам нос утрет.  
А может, просто хочется душе  
столкнуть своих героев, проследить,  
во что их бескорыстие и удаль  
могли бы перейти?..

д'А р т а н ь я н  
(подходит к Автору, тот встает).

Простите, сударь,  
но здесь идет строительство. Беда,  
коль вас бревном заденет.

(Трем оборванцам, показывая на балку рядом  
с Автором).

Господа,  
вот эта — подойдет!

1984

## БАЛЛАДА О МАКСЕ ЖАКОБЕ

Однажды французский поэт Макс Жакоб увидел на стене своей комнаты в Париже тень Христа. Кончилось первое десятилетие двадцатого века, время стояло апокалипсическое, знамения становились явью. Жакоб принял католичество, уехал в провинцию, долгие годы прослужил привратником в маленькой церкви, писал стихи, а жил на скромные деньги от продажи своих картин. Поскольку он был евреем, нацисты нацепили на него желтую звезду. Умер он в начале сорок четвертого в концентрационном лагере.

### I

Макс Жакоб жалест жаб —  
до чего ж уродцы!  
Скрип и скрежет, хрип и храп  
слышатся в болотце.  
Пахнут ряскою ветра  
на пустом пригорке.  
У Жакоба до утра  
свет горит в каморке.

Спит ограда. Спят кусты  
у закрытой двери.  
Спят могильные кресты,  
как глухие звери.  
Спят церковные ключи  
на гвозде в каморке...  
Что привратнику в ночи  
делать на пригорке?

То и делать, что смотреть  
на загривок жабий,  
высунувшийся на треть  
из болотной ржави,  
да на то как грань о грань,  
блик о блик дробится,  
как вздымается гортань  
у ночной певицы.

Смотрит, сам тому не рад,  
ревностный католик  
на языческий обряд  
этих жабьих колик.  
Раздуваются тела,  
ухает утроба —  
и горит, горит дотла  
сердце у Жакоба.

Но дается ж благодать  
этим тварям слабым!  
Да и как не распевать  
прирожденным жабам,  
да и как не заскрипеть  
песенкой простою —  
им по кочкам не сидеть  
с желтою звездою.

## 2

Как-то раз пришли на двор  
Ненависть и Злоба —  
и с печальных этих пор  
нет нигде Жакоба:  
стинул тихо, как возник,

легкий призрак плоти,  
как последний жабий крик  
в замершем болоте.

Жирной слякотной землей  
след Жакоба впитан.  
За колючей, за глухой  
провоолокой спит он.  
И в горячке просит пить,  
и честит хворобу...  
Десять дней осталось жить  
на земле Жакобу.

И тогда он видит сон:  
краски да треножник,  
он еще в Париже, он —  
молодой художник.  
Юной кисти пыл и прыгь,  
вечность — на учебу...  
Девять дней осталось жить  
на земле Жакобу.

Выплывает, спам вослед,  
из болотной жижи:  
Божьей милостью поэт,  
он еще в Париже.  
И слова идут-бредут,  
словно в такт ознобу...  
остается пять минут  
на земле Жакобу.

Наяву он, как во сне,  
видит — ближе, ближе:  
тьнь возникла на стене,  
как тогда в Париже.

И уже плывет над ним  
из дневного мрака  
круглой каски черный нимб  
по стене барака.

3

О, прорчество! Волшба!  
О, начало века!  
Все казалось: есть Судьба —  
выше человека.  
Под напором вещей строф  
сжилась бумага —  
поступь грозных катастроф  
грезилась, как благо.

Но верней, чем Божья тень  
на стене у Макса,  
расползался черный день  
над землей, как вакса.  
И пока в глубинах строк  
ворожил художник,  
чистил тысячи сапог  
дьявольский сапожник.

Но верней, чем Божий след  
в памяти Жакоба,  
нисходил на Божий свет  
черный отсвет гроба.  
И покуда растирал  
стихотворец краски,  
восходил на пьедестал  
жабий абрис каски.

Это вявев, не во сне,  
это в недрах быга:  
на разрушенной стене  
тенью тень покрыга.  
Едким дымом скрыт зенит —  
свету не пробиться:  
что потомкам сохранит  
эта плащаница?

...Спит ограда. Спят в ночи  
травы на пригорке.  
Спят церковные ключи  
на гвозде в каморке.  
Только жабы, как всегда,  
тянут свой молебен...

Гаснет желтая звезда  
на холодном небе.

*1976*

III.

## ДОМ ДЕЛЬВИГА

Прими сей череп, Дельвиг...

*А. С. Пушкин*

Пьет отец втихую водку.  
Брат кончает мореходку.  
Мама служит в банке.  
Сын уходит в панки.  
За стеной — упорный покер.  
У подъезда — черный рокер.  
Натянув на лоб резинку,  
шею шарфом обмотав,  
и журнальную блондинку  
на стене поцеловав,  
отрок зеркалу мигает  
и поспешно выбегает,  
пробираясь, точно вор,  
в коммунальный коридор.  
За соседскою стеною —  
Катька с детскою тоскою.  
Ждет под вечер, не дождется:  
двери скрипнут на беду —  
разбежится, распахнется  
и прижмется на бегу.  
И старик, худой, как жердь,  
ходит-бродит, точно смерть,  
ходит, кашляет взахлеб,  
учиняет вечный стиб:  
то ему не в жилу телек,  
то его доводит рок.  
А на плейсер нету денег,  
и затасканный упрек

день за днем висит незримо...  
Мимо, мимо, мимо, мимо —  
мимо покерной шарашки,  
мимо Катьки-побирашки,  
мимо старческой берлоги  
пронесут лихие ноги...  
Шлем, перчатки, чуингам,  
на седло — и по дворам!

Быг банальный, коммунальный,  
стал ты притчею печальной.  
Восемь лет тому назад  
и у нас был свой азарт:  
что ни день — посуда бита,  
склоки, шум, покоя нет...  
К нам тогда вселилась Рита  
двадцати бывалых лет —  
Рита, полная восторга  
дщерь любви и пиццеторга.  
Кулинарная богиня,  
величава и стройна,  
в нашей кухне, как догиня,  
стала царствовать она.  
И, делясь искусством с нами,  
разбитными вечерами,  
за созданием меренг,  
нам подкидывала сленг.  
И звенел звонок в прихожей,  
и являлся гость расхожий,  
и входила к нам сама  
бундесовая фирма —  
с чуваками центровыми  
в мадсиновых клифтах,  
и с чувихами крутыми,

и с понтилами в летах,  
чтобы хряпнуть на халяву,  
легкий кайф словить на славу,  
а потом, с подначки,  
побашлять на тачке.

И, взирая в ДО из ПОСЛЕ,  
вспоминаю нынче я:  
весь жаргон крутился возле  
денег, тряпок и питья.  
Ну а наш герой бедовый  
просто хочет различать  
«вломный» мир и мир «олдовый»:  
то есть — дрянь и благодать.  
Все быстрее летит эпоха,  
и, за нею устремлен,  
хорошо тебе иль плохо —  
вот о чем твердит жаргон.  
Что стараться? Выбор прост,  
будто так и шло от веку:  
— Оттянулся в полный рост,  
кайф словил, и — в дискотеску!

И, потягивая флип,  
поглазеть на местный флирт,  
как меняются местами  
возле крайнего стола,  
где с подбритьми висками  
ждет олдовая герла.  
А она сидит одна —  
отстраняясь, отдыхая,  
и компания лихая  
ей как будто не нужна.

Только ритм и только рок —  
остально все не впрок...

Шли по улице. Темнело.  
Бунтовать просилось тело.  
Что нам с нашего героя  
взять? Какой еще навар?  
На площадку метростроя  
их повел шальной угар.  
И уселись возле дома,  
на развалинах, в тиши,  
где балдели два «наркома»  
от приبلудной анаши.  
— Так над чем стсбался телек?  
— В доме жил какой-то Дельвиг.  
— Что ли, пушкинский дружок?..  
Им аукнулся смешок.  
Дом спасли от метростроя.  
Он, как остров, шлыл в ночи.  
Лампа блеклою звездю  
освещала кирпичи,  
кучи мусора и быга —  
всё, что сломано, разбито,  
что зовут: культурный слой  
(с чем не связан наш герой)...  
Кто-то, прыгая в траншею,  
засвистел: сюда скорее!  
Под кроссовкою, в пыли,  
череп глянул из земли.

Что ж, прими сей череп. Он  
из наследства т е х времен,  
тех, военных, тех, блокадных,

для тебя давно плакатных,  
онемевших и пустых...  
И сверкнули две глазницы,  
будто в них огонь тает, —  
нет, стекло застряло в них.  
Битый череп взяв под мышку,  
наш герой летит вприпрыжку  
через мусор, сор, разор,  
с пустыря — через забор.  
К ночи площадь замирает,  
бездыханный, черен дом.  
Светофор во мле мигает,  
как беззвучный метроном.  
И растет над ними город,  
ворона культурный слой.  
И встает над ними город  
всколочную стеной.  
И шльвет над ними город  
вереницю теней.  
И пост над ними город  
песни крыш и голубей.  
Но они-то спшат: город  
громом рокеров распорот.  
Кто-то свой, снсна вослед,  
крикнул на ходу им:  
— Притусуемся на флэт,  
там перенайтуем,  
и забьем косяк олдовый,  
и расслабимся по новой...  
— Стоп! — вздыхает наш герой  
и качает головой. —  
Заягра в школу! — говорит.  
Из-под куртки черен серый  
в мир глядит, как символ веры,  
и стеклянный глаз горит.

А на улице, кругом,  
полон жизнью каждый дом.  
Метрострой породу роет.  
Домострой свободу кроет.  
Переходит в визг хоккей.  
Хороводит диск-жокей.  
Покер длится. Катька плачет.  
Дед-сосед в окне маячит.  
С анекдотами о чукче  
ржут застолья допоздна.  
В подворотне, кошки чутче,  
ждет своих дворовый дуче.  
Мчатся тучи, вьются тучи,  
невидимкою луна.  
Не видать конца пути...

Страшно, Господи прости!

1986

## ФАРС О ЛОХАНИ

Моя жена переводила фарс французский, в нем участвовали трое: он — Жакино, она — его жена, и теща. Дело, в общем, было в том, что сговорились эти злые бабы сжить со свету беднягу Жакино и стали диктовать ему насильно огромный список дел и поручений, которые он должен выполнять и днем, и ночью. Попросту, над ним готовилась зловещая расправа, и впал в унынье бедный Жакино. Но тут жена (его, а не моя), ругаясь, мужа подвела к лохани, чтоб начал он выкручивать белье, — и поскользнулась. Тут моя жена, в согласье с той, немного поскользнулась на переводе. Дальше было так. Она (его жена) в лохань упала и стала звать на помощь. И моя меня кричит: давай, мол, пособи, — ей, видите ли, нужно подобрать побольше крепких слов и выражений (а нужно вам сказать, что в этом фарсе жена и муж довольно грубовато друг с другом изъяснялись). Жакино, не будь дурак, в лохань влезать не стал, а развернул свой список, повторяя, что, мол, тащить супругу из лохани — такого порученья в списке нет. И я своей твержу: стирать пеленки — стираю, в магазин ходить — хожу,

пол подметать — мету, посуду мыть —  
помою с удовольствием, но фарс  
переводить — вот это уж увольте!..  
Но все, по счастью, кончилось удачно.  
Его жена вернула мужу право  
хозяином считаться, чтобы только  
он из лохани выгацил ее, —  
да и моя, узнав, что ей хотелось,  
немедленно отстала... Я вернулся  
к моим кастрюлям, плошкам, поварешкам,  
пока она дымила сигаретой,  
вымучивая свой французский фарс...  
Вот так-то, брат! Там, пять веков назад,  
ты жил прекрасно — пел и пил вино,  
и выходил порою на подмости  
свой фарс играть.. Ну что ж, я не грущу!  
Есть у меня отдушина: когда  
заснут жена, и сын, и все соседи,  
когда заснут кастрюли и пеленки,  
и тряпка, и метелка, и совок,  
я... нет, я до зари теперь не лягу,  
беру свой карандаш и, как в кино,  
сажусь за стол — и пачкаю бумагу...  
Двадцатый век, дружище Жакино!

1977

## БАЛЛАДА О СТАРИННОЙ МУЗЫКЕ

Вот голос над гомоном будней:  
едва он явился, взлетев,  
как гостьей восточною — лютней  
да бубном — слугой королев,  
и флейтой — любимицей дев,  
и низкой струною псалтири  
продолжен старинный напев  
о счастье, о горести в мире.

Чем выше — светлей и уютней  
становятся звуки. Сомлев  
под пение шершней и трутней,  
под сенью кустов и дерев,  
травинку дыханьем задев,  
как тонкий значок на клавире, —  
почти исчезает напев  
о счастье, о горести в мире.

Чем ниже — грубей и распутней  
становится голос. Надев  
обноски подвохов и плутней  
на голых адамов и ев,  
смешает он замок и хлев,  
как воду и спирт в эликсире, —  
но вновь оживает напев  
о счастье, о горести в мире.

Вольнка! Вмешайся, презрев  
гармонию нотной цифири:  
все в кучу — и нежность, и гнев...  
О, счастье! О, горести в мире!

1981

Все в мире сказано до них!  
Так для чего же этот стих  
и этой жизни ранний холод?  
За каждый звук стоят горой!  
А все душа твердит порой:  
«Блажен, кто смолоду был смолот

судьбой — и перестал писать!..»  
Так для чего же их опять  
тревожит каверзная муза?  
Все было, было! Каждый трюк,  
и ход, и выпавший из рук,  
набухший от немого груза,

неотвратимый карандаш.  
За что ж ты жизнь свою отдашь?  
Но мир вокруг, как в песне, тесен,  
а славы призрачный мирок,  
неизлечимый, как порок  
врожденный сердца, — здесь он! здесь он!

Когда-то брошено: «Поэт...»  
И дни-ткачи десятки лет  
ткуют расторопно и незримо  
наряды голых королей.  
И плачет пьяный дуралей,  
и жаль его невыносимо.

1986

## СТИХИ БЕЗ ЭПИГРАФОВ

### 1

Какая радость рифмовать  
«глаголы» и «символы»,  
вино из кубков наливать  
и поминать престолы.  
Под гром воинственных музЫк  
так сладко время тает!  
Но изменяется язык —  
и рифма изменяет.

А муза русская порой  
нет-нет да отвлечется  
и этой бравою игрой  
нет-нет да увлечется:  
выводит свой потешный полк  
застольных краснобаев  
и в спальню, видя в этом толк,  
пускает негодяев.

### 2

Что-то поредели наши стаи,  
что-то обмелели наши реки.  
Фильмы нашей молодости стали  
фильмами из фондов фильмотеки.  
Начали пророчества сбываться.  
Год летит быстрее, чем минута.  
Как легко над книгой забываться!  
Жизнь моя, иль снишься ты кому-то?

1987

## КОТ И ХОЗЯЙКА

Х о з я й к а:

Но я о смерти — все случилось так.  
Я умирала. Это был не сон,  
а ощущение гибели. Оно  
в меня входило. В забытьи глубоко  
я чувствовала: нужно пробудиться  
немедленно, иначе я умру!  
И не могла. Я помню точно въяве  
тот ужас, то смятение, с которым  
я пробовала вырваться, ожить —  
и не могла. И в это время боль  
и крик ужасный, крик нечеловечий  
мое сознание всколыхнули. Я  
от боли и от крика в тот же миг  
очнулась и вскочила — это кот  
мой верный кот в лицо мое когтями  
вонзился и завыл: он смерть мою  
почуял. Он увидел: умираю —  
и спас меня, так дико пробудив!..  
Иди ко мне, мой маленький спаситель!  
Иди, ложись!.. Теперь он спит всегда  
со мной в постели. Ведь не ровен час —  
вдруг ночью это снова повторится?  
Но я теперь спокойно засыпаю:  
я знаю, что со мною рядом — кот.

К о т:

Как мягко! Как тепло! Я так люблю  
понежиться на ватном одеяле.

Теперь я что ни ночь с хозяйкой сплю,  
а раньше редко-редко допускали.  
Когда луна пройдет свой скучный путь  
и скроется за кромкою окошка,  
к хозяйке забираюсь я на грудь,  
мурлыча от восторга, как гармошка.  
Мне нравится, что спит она, дыша  
едва-едва, — ну впрямь моя подстилка.  
И так у ней на шее хороша  
таинственная медленная жилка!  
Я, наконец, не выдержал — накрыл  
ее своєю лапой: жилка билась!  
Я телом лег. Я, не жалея сил,  
старался, чтоб она утомилась!  
Хозяйка захрипела. В тот же миг,  
как ни пыгался я скатиться на пол,  
но был прижат, и закричал на крик,  
и все лицо хозяйке испарашал.  
Она вскочила. Я готов был рвать  
отсюда когти, ожидая взбучки,  
но был положен снова на кровать  
обласкан, расцелован, взят на ручки!  
Хозяюшка, в словах не смыслит кот.  
О чем ты говоришь гостям столь пылко?  
Как мягко! Как тепло! Как не даст  
покоя мне таинственная жилка!

1981

## БАБКА НАДЯ

Бабка Надя любит кошек  
и несчастных голубей.  
Бабка Надя им, как свиньям,  
ставит ведра отрубей.  
И подгнившую рыбешку,  
от которой жить невмочь,  
на конфорке коммунальной  
варит бабка день и ночь.

Возлежат коты и кошки  
штабелями под окном.  
Ходят голуби за бабкой,  
как кобылы, табуном.  
И на пышной паутине  
почивают пауки.  
И пируют тараканы  
с легкой бабкиной руки.

Эти бабкины причуды  
окупаются с лихвой:  
всех мальчишек бабка Надя  
презирает всей душой,  
всех мальчишек, всех девчонок,  
всех, стоящих у ворот,  
всех, кто по двору проходит,  
всех, кто кошечку вспугнет.

Поутру ложится бабка  
на окошко животом.  
Зорким оком смотрит бабка,  
что творится за окном.  
Лишь кого приметит бабка —

поднимает громкий ор...  
А пока что потихоньку  
разъезжается наш двор.

И теперь, едва стемнеет,  
страшно встретить за углом  
то ли кошечку с кастетом,  
то ли голубя с дубьем.  
А какой царит отныне  
на дворе у нас язык —  
это карканье и посвист,  
вой, шипенье, свист и рык!

Нынче утром вышли кошки  
строим, словно на парад.  
Ходят голуби по крыше —  
прибывают транспарант.  
Пауки и тараканы  
распевают на заре...  
День рождения у бабки —  
то-то праздник во дворе!

*1984*

## ПРОЩАНИЕ С КОЛОМНОЙ

Спущены деньги —  
корабль отправляется в плаванье.  
Бутылка с шампанским разбита —  
не сдать посуду.  
Ветер гудит во дворе — надувает парус  
окна.

Четырнадцать метров квадратных —  
немного для подвигов ратных,  
но вдосталь для неприметных  
трудов кабинетных.

И все-таки повезло мне  
полжизни прожить в Коломне!  
Там нитками из шкатулки  
торчат мои переулки:  
Калинкин, Прядильный, Климов.  
И, крыши до блеска вымыв,  
дожди ниспадают пряжей  
на уличный шум бродяжий.

О, рукоделье города,  
где иглы спицей воткнуты в подушку  
ватных туч,  
где на решетках — тучные русалки,  
а рядом с ними волны, точно прялки,  
где все прядут, и ткут, и красят, и кроют  
наряд,  
приметывая, чтобы стали впору,  
оборки пышные Никольскому собору,  
прикидывая стежки, строчки  
и позумент для оторочки.

И пока глядятся в воду,  
недоверия полны,  
продает туман восходу  
купола из-под полы.

Будь щедрым, покровитель моряков!  
Вся в полых мачтах каменных дворов,  
вдыхая ила пряного наркоз,  
бросая бризу крыши на поживу,  
Коломна, заостренная, как нос  
фрегата, устремляется к заливу.  
И целый город тянется за ней  
на запах неизведанных морей.

Слава богу, не погиб в трясине  
прорубавший просеки Трезини.  
Лес лежал, повернутый изнанкой  
к небу, между Мойкой и Фонтанкой,  
чтоб очнуться в недрах лесопилен,  
надыхаться влагою морской...  
Я судьбою, как скобой, пришпилен  
к жизни деревянной, слободской.

Пока парадный город пировал,  
здесь правили Мансарда и Подвал.  
Пока проспекты важные меняли  
названия в угоду временам,  
здесь улочки украдкой сохраняли  
привязанность к простецким именам.  
Здесь лоцманы, солдаты, каюниры  
и все мастеровые анонимы  
вгрызались в топь и в лед.

Я целый год  
в подвале жил, пока

наш дом стоял на капремонте.  
О, сырости осклизлые бока!  
Зажгите свет и троньте  
рукою стену — кажется, к руке  
прилипнут имена, возникнут лица...  
Я помню убежавших налегке  
вас, многоножки, пауки, мокрицы, —  
пока скользила по стене рука,  
я словно пробивался сквозь века,  
чтоб в комнату вомчаться на пределе  
и вынырнуть на уровне панели.

Я у окна стоял часами,  
а за окном, под парусами  
лихих капроновых чулок,  
скользили лодочки и боты —  
там шли работницы с работы,  
и углой туфельки челнок  
вдруг подлетал, не чуя ног.  
Кипела жизнь на тротуаре,  
а я стоял в своем угаре  
и, одурев от этих бот,  
качался, как корабль на рейде,  
еще не ведая о Фрейде, —  
уж мне поклонялся бы тот!  
Но, впрочем, это эпизод.

Еще один, лет через десять. Мой приятель  
учился в «Корабелке» и снимал  
мансарду. У него по вечерам  
мы собирались. К нам  
заглядывали две подружки из Текстильного —  
и столько было в них наивного и стильного!  
Мы танцевали, а потом  
все вчетвером

через окошко вылезали  
на крышу.

Перед нами  
Коломна, погруженная во мрак,  
светила фонарями кое-как.  
Доходные дома вздымали крыши,  
боками придавив особняки.

А выше —  
лишь дыхание реки  
текло навстречу бурным, плотным светом,  
антенны были сбиты вкривь и вкось,  
как будто вновь, восстав над парашетом,  
Невы державное течение  
не выдержало заточенья  
и к нам на крышу пролилось!

Теперь я думаю: как жизнь головоломна!  
Но даже в наши времена,  
так получилось, что Коломна  
своим пристрастиям верна.  
И вновь, безудержны и громки,  
сходились в сумерках ночных  
мы — представители, потомки  
ее профессий коренных.  
И неспроста мой корабел  
в житейских бурях не робел,  
а две текстильщицы, две пряжи  
латали наспех нам рубахи,  
устраивали быт и дом...  
Но я-то, я-то здесь причем?

Притом!  
Я такой же, таковский —  
сквозь время петляет мой след.

Коломенский житель Жуковский  
мне шлет через бездну привет.  
Прощайте, подвал и мансарда,  
гранит, и чугун, и металл!  
Курчавую тень Александра  
впервые я здесь увидел.  
А все же душа неумна  
и гонит кочующий стих.  
Как много осталось, Коломна,  
в несметных твоих кладовых!

И сфинксы на Египетском мосту  
стоят, как часовые на посту,  
пока река  
всей мощью,  
под пролет,  
ныряет, как в подземный переход.

1986

## СОДЕРЖАНИЕ

### I.

Смерть поэта.....	4
«Как начинался русский футуризм?..».....	7
Поздний перелет.....	8
«О дружеские встречи, беседы и вино...».....	11
«Еще немного подождем...».....	12
«И совсем не для них мастерили кормушку...».....	13
Святые горы.....	14

### II.

«Окруженный резною листвою...».....	22
Миражи детства.....	24
Осенний триптих.....	26
Пригород.....	29
«На улице — тихо и жарко...».....	31
Лист календаря.....	33
Рядовое дело д'Артаньяна.....	35
Баллада о Максе Жак обе.....	38

### III.

Дом Дельвига.....	44
Фарс о лохани.....	50
Баллада о старинной музыке.....	52
«Все в мире сказано до них!...».....	53
Стихи без эпиграфов.....	54
Кот и хозяйка.....	55
Бабка Надя.....	57
Прощание с Коломной.....	59